

Тетради

Русской экспертной школы

2017 № 1

Москва
Русская экспертная школа
2017

УДК 316.75(470+671)
ББК 60.0(2Рос)
Т37

Партнёры:

Всемирный русский народный собор
Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Т37 **Тетради Русской экспертной школы № 1** : научное издание / Авт.-сост. В.А. Щипков. – М. : «Русская экспертная школа», Пробел-2000, 2017. – 120 с.

ISBN 978-5-98604-593-1

Первая Тетрадь Русской экспертной школы представляет собой сборник экспертных комментариев, обсуждавшихся во время лектория Школы, посвящённого консервативным мировоззренческим процессам в современной России. В этом номере рассматриваются следующие вопросы: что такое «консервативный поворот», как тема революции отражена в русской мысли, что связывает Трампа и Россию, есть ли на Донбассе идеология, какие типы консерватизма существуют в России, почему русский писатель проходит путь от бунта к традиции и что такое «постсекулярный язык».

Наши электронные контакты:
ruseschool@yandex.ru
vk.com/ruseschool

ISBN 978-5-98604-593-1

© Русская экспертная школа, 2017.
© Щипков В.А., 2017.
© «Пробел-2000», 2017.

Содержание

О Русской экспертной школе 5

А.Ю. Минаков

Типология консерватизма в современной России 8

А.П. Козырев

Революция и русская мысль 35

К.С. Бенедиктов

Трамп и Россия 57

М.В. Ремизов

Консервативный поворот 78

Д.О. Бабич

Путь русского писателя: от бунта к традиции 94

В.А. Щипков

Постсекулярность и язык Церкви 113

КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПОВОРОТ

Представляется, что одна из лучших работ по консерватизму — «Консервативная мысль» Карла Мангейма, в которой говорится о сложностях, связанных с определением «консерватизма» и с выбором родового понятия для этого термина. Мангейм считает, что консерватизм есть не столько политическая идеология в ряду других идеологий, сколько стиль мышления, который он сравнивает со стилем в искусстве. Эти стили могут развиваться и пересекаться друг с другом, точно так же действуют политические мировоззрения. Исходная точка заключается в том, что консерватизм как категория не есть полностью отдельная идеологическая доктрина наряду с другими. Это, скорее, стиль политического мышления. Можно по-разному определять его суть, но делать это необходимо в контексте полемики с другими школами мысли, потому что политическое мышление по определению полемично, а политические категории, как писал Карл Мангейм, что-то утверждают и что-то отрицают.

Мой взгляд на этот известный идеологический треугольник таков: существуют левые, консерваторы и либералы, и каждому из этих направлений политической мысли, групп политических идеологий будет соответствовать определённое представление о базовом типе социальной связи. Это представление ещё не является идеологией, но из него идеологии могут вырастать.

Для либерализма и либерального мышления базовой метафорой социальной связи является договор. Общее благо в обществе создаётся тогда, когда люди, следуя правилам этого договора, преследуют свои частные интересы и реализуют своё собственное стремление к благу. Такое уравнивание частных интересов, или частных эгоиз-

мов, при котором формируется общее благо, и является с точки зрения либерализма сутью хорошо устроенного общества. Можно вспомнить И. Канта, который задавал вопрос о том, возможно ли существование хорошо устроенного государства в «нации дьяволов», то есть среди людей, в отношении которых нельзя предполагать никакой благонамеренности, никакого альтруизма или установки на общее благо, а только отъявленный эгоизм. Кант пишет, что да, возможно, но только в том случае, если эти «дьяволы» будут мешать друг другу делать зло и уравнивать друг друга. В такой формулировке и заключается сила либерализма как социальной модели и сила либерального капитализма.

Сила такого подхода в том, что он помогает мыслить социально приемлемый общественный порядок, не постулируя добрых намерений и высоких моральных качеств человека и не требуя от него ничего большего, кроме разумного эгоизма, соблюдения правил игры, процедур, которые обеспечат взаимную гармонизацию частных эгоизмов. В этом и состоит крайнее выражение либеральной мысли. По мысли философа Ф. фон Хайека, категорически вредно изначально ориентироваться на достижение общего блага как такового: общее благо будет достигнуто тогда, когда все будут преследовать свои частные интересы, а устройство общества превратит эту игру частных интересов в созидательный процесс. В этом, собственно, и заключается основа либерального мифа о животворящем рынке.

Левое представление о базовом типе социальной связи можно выразить термином «проект». Если для либералов отцами-основателями можно считать теоретиков общественного договора, то в случае с левыми — это такие фигуры, как, например, Томас Мор, предложившие разные вариации на тему совместных усилий во имя справедливого, «лучшего» общества. Критерием этой справедливости, как правило, выступает равенство. Здесь методологически принципиально важной является установка на совместное действие, на лозунг «возьмёмся за руки, друзья, и построим более справедливое, более разумное общество». Это установка на совместное обще-

ственное проектирование, на создание справедливого сообщества, задуманного на основе принимаемых законов разума, морали, общественного порядка.

Обе эти школы мысли объединяет то, что они существуют в рамках презумпции предпосылок Просвещения, к числу которых относятся представления о естественной природе человека, об общественном договоре и рационализм.

Базовые представления консерваторов о типе социальной связи основываются на слове «наследие». Консерваторы утверждают, что для того, чтобы люди могли заключить друг с другом общественный договор или объединиться для реализации совместного общественного проекта, между ними должно существовать весьма глубокое взаимопонимание и взаимное доверие. Эти люди должны желать заключить общественный договор именно друг с другом, должны говорить на одном языке (в прямом и переносном смысле), должны быть объединены общими рамками моральных предпосылок и общими представлениями о добре и зле. Создать общество иначе, с этой точки зрения, невозможно. Ведь даже если логически помыслить абстрактный желаемый результат, какой мы хотим получить на выходе, то мы всё равно будем вынуждены постулировать то, что имеем на входе. Для того чтобы получить социальную связь, мы должны постулировать такой уровень взаимного доверия и взаимопонимания между людьми, который с самого начала будет характеризовать этих людей как сообщество.

Под «наследием» консерваторы традиционно понимают как материальные, так и нематериальные явления. Ещё в античном полюсе совместное воспроизводство и сохранение материального и нематериального наследия представлялось людям основой их жизнедеятельности. К предметам совместного производства и пользования в эту эпоху можно отнести множество явлений, начиная от водопровода, канализации, иной инфраструктуры, о которой можно заботиться только совместно, и заканчивая религией, мифом, правовой системой, картиной истории сообщества. С точки зрения такого кооперативно-

го взгляда на устройство общества и преобладающий тип социальной связи — именно воспроизводство и преумножение совместного наследия является основной формой совместной деятельности людей. Это то, что держит людей вместе, является той причиной, по которой они принципиально нуждаются в сотрудничестве друг с другом.

Такая разница подходов отражается и в политическом дискурсе. Если сравнить либеральный дискурс о государстве, об отношении гражданина и государства с консервативным дискурсом, то станет понятно, что в основе либерального подхода лежит сюжет о правах налогоплательщика, который платит свой взнос и требует за это от государства публичных благ. И хотя эти мотивы справедливы и разделяются нами, они всё же представляются недостаточными.

В рамках консервативного представления об основополагающей связи государства и гражданина ключевым является тот факт, что государство распоряжается нашим общим, совместным наследием: стратегическими недрами, инфраструктурой, которые были созданы не нами, а нашими предками, и не принадлежат никому в отдельности, являясь частью наследственного капитала. Государство должно заботиться о нематериальных аспектах этого капитала, потому что взаимное доверие, общий язык (в прямом и переносном смысле) являются такой же частью экономического климата, как налоги или качественная инфраструктура. Государство должно поддерживать общую культуру, воспроизводящую систему образования и так далее. Оба приведённые основания требовательности к государству, либеральные и консервативные, сосуществуют одновременно и не являются взаимоисключающими.

Как же консерватизм с таким представлением социальной связи чувствует себя в современном массовом обществе? Очевидно, что это представление ближе к модели восприятия общества как семьи. Однако именно эта модель восприятия общества как большой семьи постепенно разрушается в Новое время, уступая договорным концепциям общества. Фердинанд Тённис ввёл в социологию известную ди-

хотомию «Общность и общество», имея в виду две разные модели и формы социальной связи. Общность ближе к семейной социальной связи, общество — ближе к сугубо договорным расторгжимым обязательствам. Поэтому процесс модернизации многие социологи описывали именно как вытеснение элементов общины как типа социальной связи более договорным и ответвлённым способом взаимоотношений людей в социуме.

Тем не менее многие социологи понимали, что это ведёт к отчуждению людей в обществе, видели в этом проблему и думали над тем, как её можно решить. Теоретик социальной модернизации Э. Дюркгейм видел основным последствием преобладания элементов общества над элементами общины (в терминологии Тённиса, которую он хотя не использовал, но говорил, по сути, о том же самом) феномен аномии, то есть моральной эрозии, ситуации ощущения такого человеческого одиночества, дисфункции регулирующих норм, которая выражается в росте числа самоубийств как одном из явных индикаторов распада общества. Многие социологи воспринимали такой подход как вызов, и, естественно, как вызов воспринималось это движение от общества к общине консерваторами.

Значит ли это, что необходимо вернуться к общине или к тому, что можно назвать традиционным обществом? Такая консервативная тенденция существовала всегда, но оставалась бессильной, бесплодной и беспочвенной. Скорее, речь в рамках консервативного дискурса может идти о каких-то элементах продуктивного реванша принципов, норм и форм старого мира, ассоциируемых с аграрно-сословным обществом и с общинно-семейственными представлениями о социальной связи. Этот реванш происходит в условиях современного, массового городского общества.

В качестве примера такого реванша можно привести одну из ключевых категорий современности — это нация. Нация — это, с одной стороны, категория, которая принимает как данность указанные реалии современного, массового городского общества и, с дру-

гой стороны, это тип социальной связи, подразумевающий прямое членство в сообществе. То есть нация в отличие от племени состоит не из кланов, жузов или видов. Она состоит из людей и подразумевает прямое индивидуальное членство и индивидуальную ответственность. В этом смысле понятие «нация» является модернистским ещё и потому, что социальные и культурные связи внутри нации воспроизводятся через «отчуждённые институты», такие как всеобщее образование (не просто семейное предание, которое передаётся из уст в уста), СМИ, печать и т.д. Упомянутые институты представляют собой большие машины социализации, которые являются атрибутом современного массового общества, — в этом нация и отражает, и принимает реалии современного массового городского общества, навсегда ушедшего от того, что можно назвать традиционным обществом. Но, с другой стороны, нация воссоздаёт внутри этих институтов современного массового городского общества то ощущение теплоты, взаимной связи людей друг с другом и собственным прошлым, которое было характерно для общины. И таким образом решает ту проблему отчуждения человека от себя, от собственного прошлого, людей друг от друга, о которой говорил Дюркгейм и другие.

Нация есть плод конфликтного синтеза, симбиоза консерватизма с реалиями общества модерна. В логике упомянутого продуктивного реванша созданы многие институты современного национального государства и современного общества. Ярким примером такого института может служить классическое образование. Сама предпосылка создания системы всеобщего образования, безусловно, связана с эпохой массового городского общества, эпохой Современности, распадом старых сословных порядков. Но если посмотреть на то содержание, которое было загружено в школьные и университетские системы всеобщего образования XIX века, то мы увидим, что это контент старой аристократической культуры. Именно поэтому Энтони Смит говорит, что современная нация — это демократизация аристократических этний (аристократических этических культур). Во многом

это тоже пример продуктивного реванша, когда, взяв форму современного массового общества и модель всеобщего образования, консерваторы наполняют её ценностями аграрно-сословного общества, хоть и в изменённой форме.

Вадим Цымбурский в одной из своих работ приводит хороший пример, связанный с категорией джентльмена в английской культуре. Эта категория достаточно удачно сочетает преемственность по отношению к старой аристократической культуре, потому что в качестве образца человека как такового (человека, каким он «должен быть») берётся аристократическая модель человеческой личности. Кроме того, это понятие подразумевает социальную открытость, возможность позиционировать себя как джентльмена для представителей разных социальных слоев.

Такую реакцию консерватизма на современное массовое общество можно сравнить с контрреформационной реакцией на реформацию. Эта реакция неизбежно учитывает восстание индивида, которое происходит в эпоху реформации. Но там, где контрреформация имела успех, контрреформаторам удавалось реставрировать уже в условиях нового мира некоторые ценности, представления и порядки аграрно-сословного общества. В широком смысле вся современность в равных её аспектах является плодом конфликтного синтеза начала консерватизма и Просвещения, эмансипации. Поэтому известный немецкий мыслитель консервативного направления Курт Хюбнер пишет, что современное государство и современное общество включают не только процессы просвещения, но и политический романтизм. В данном случае политический романтизм он рассматривает как квинтэссенцию консервативной политической философии, потому что является большим поклонником немецкого публициста Адама Мюллера. Мюллер писал интересные и глубокие статьи, которые во многом предвосхитили появление такой школы, как экзистенциальная экономика. Он анализировал нематериальные, культурные предпосылки формирования социального и экономического капитала.

Итак, современность представляет собой плод конфликтного синтеза Просвещения и консерватизма. Именно поэтому складывается убеждение, что консерваторам современности есть что защищать. Наиболее показательным примером в этом отношении является консервативный дискурс нынешней традиционной семьи. Что имеется в виду под традиционной семьёй, действительно ли это то, что должно так называться? На самом деле нет, потому что традиционная семья в строгом смысле — это большой род со сложной системой взаимоотношений. Та семья, которая мыслилась и воплощалась традиционным обществом, не является референтной моделью практически ни для кого, включая современных консерваторов, — хотя, конечно, консерваторы несколько больше по ней ностальгируют. То, что сегодня принято именовать «традиционной семьёй», является, скорее, буржуазной нуклеарной семьёй, которая состоит из отца, матери и детей, а не из родителя № 1 и родителя № 2.

Здесь стоит вспомнить расхожий тезис о том, что консерватор — это неудачливый реакционер, который всегда запаздывает и брюзжит по поводу неизбежных перемен. Однако более точно было бы назвать консерватора соавтором современной эпохи, политической современности. С этой позиции и политическую современность можно воспринимать как объект для консервативной стратегии наследования, сохранения и ответа на вызовы, с которыми она сталкивается.

Какие это вызовы? Это те вызовы, которые становятся наиболее актуальными в 1960-1970 годы в связи с так называемой культурной революцией, когда сначала в философии, затем в массовой культуре, а потом и в политике были поставлены под сомнение фундаментальные принципы современной цивилизации. Этот вызов по отношению к современной цивилизации идёт по трём направлениям. Одно из них представляется справедливым назвать термином «дегуманизация».

Дегуманизация есть процесс размывания традиционных гендерных идентичностей, напрямую связанный с манипуляциями с че-

ловеческой телесностью, преодолением психофизического барьера, включая наркокультуру. Неслучайно наркокультура называется культурой: она представляет собой попытку изменить представление о человеческой личности, а не просто плохое поведение подростков. Дегуманизация пытается выйти на представление о человеке как о модульном существе, который может собирать и разбирать себя как конструктор, о чём с большим энтузиазмом пишут Хардт и Негри в книге «Империя». Об этом же пишет, но уже несколько настороженно, Фукуяма в книге «Наше постчеловеческое будущее». Всерьёз к этому явлению заставляют относиться новейшие тенденции в биотехнологиях, умение кибербиологических систем комбинировать живые организмы с техническими информационными устройствами, возможность вмешаться в геном человека, создание организмов с заранее заданными свойствами. Все эти вопросы находятся сегодня на рабочем столе биотехнологов.

В западной культуре развитие в этом направлении из-за определённых этических параметров ограничено. Однако уже сегодня можно с уверенностью сказать, что фактором снятия всех этих ограничений на пути бурного развития биотехнологий, в том числе ставящих под вопрос прежние представления о структуре человека, будет Восток. В Китае и других крупных странах этого региона отсутствуют серьёзные этические ограничения в этой сфере, и они могут идти гораздо дальше в биотехнологических экспериментах с человеком. Затем, чтобы не отставать от китайцев, по этому пути вынужден будет пойти и западный мир.

Второй серьёзный вызов по отношению к современной цивилизации и национальному государству — это десуверенизация. Этот процесс имеет разные измерения. Один из них представляет собой перенос центра власти на наднациональный уровень, или на субнациональный уровень: утечка власти из официальных публичных структур в бизнес, в транснациональные корпорации или на уровень брюссельской бюрократии (в случае с Европой). Такая политика вме-

шательства стационаризирована в последние десятилетия под разными флагами: гуманитарным или антитеррористическим.

Возможно, именно в таком виде проявляется кризис политического лидерства в современном мире. В западной политической культуре эта проблема обсуждается и ставится остро, поскольку политическое лидерство является одним из важных механизмов национальной субъектности, одним из противовесов олигархической тенденции — вырождения демократии в олигархию. Лидер пытается фокусировать общественное ожидание, а сами общественные ожидания становятся материальной силой. Приведём простой пример: решение о присоединении Крыма принимал В. Путин, но не потому, что он так захотел, а потому, что он сумел сфокусировать определённые общественные ожидания и понимал цену отказа или цену альтернативных решений. Поэтому, осуществляясь, общественное ожидание и общественное мнение становятся материальной силой.

Западные авторы часто пишут о том, что кризис политического лидерства является одним из измерений десубъективации. В этом контексте можно говорить о таком феномене, как анонимная власть, как о наиболее глубоком, неприятном последствии этой десоверенизации. Обстоятельно писал об этой проблеме Карл Смит: власть, даже если она диктаторская, но при этом публичная, связана и опосредована большой ответственностью. Если же власть принципиально не публична, то непонятно, кто принимает решения и на каких основаниях они складываются. Ощущение анонимной власти приводит к тому, что ответственность уходит как песок сквозь пальцы и истеблишмент начинает делать всё, что хочет. Именно так чаще всего происходит в современном западном мире. В разные периоды такая ситуация наблюдалась и в России.

Вышеназванные процессы также можно рассматривать под углом десоверенизации. Именно с десоверенизацией связан феномен нормализации коррупции. Почему коррупция — очевидное зло? В том числе и потому, что мы воруем у суверена (если говорить

о коррупции по отношению к государству). Воровать у суверена (государя) безнравственно и бесчестно — именно такими были представления в обществе на протяжении веков. Однако безнравственно такое воровство лишь в том случае, если суверен существует, если же его нет — это уже не воровство, а «утилизация бесхозного добра». Поэтому коррупционные процессы в современном десуверенизованном обществе уже не воспринимаются как кража. Такое понимание на глубинном, сознательном или подсознательном уровне приводит к нормализации системной коррупции как принципа отношений.

Третьим крупным вызовом является десоциализация. Если сравнить общество 1950-1960 годов с современным (как западным, так и российским), то одним из наиболее разительных изменений будет резкий рост неравенства. Этот рост выражается и в децильных коэффициентах, и в коэффициенте Джини, и в пропорциях оплаты труда в крупных компаниях (если в 1950-1960-е годы разрыв между топ-менеджментом и средним низовым звеном составлял 10-15 раз, то уже в 1990-е годы он мог составлять и 500, и 1000 раз, и это считалось абсолютно нормальным). Такие изменения никак не продиктованы законами рынка, это элемент негласного общественного договора. Баланс сил изменился таким образом, что стали возможны совершенно другие, на порядок большие разрывы в оплате труда.

Другое измерение десоциализации — растущая свобода трансграничного движения капитала. Если не создаются благоприятные условия именно для капитала, то он грозит, что рано или поздно может мигрировать. Ещё одним измерением является трансграничное движение рабочей силы. Безусловно, массовая миграция, как трудовая, так и нетрудовая, шла в западных обществах примерно с конца 1960-х годов. Первостепенной причиной её было кардинальное ухудшение сделочной позиции труда по отношению к капиталу на собственных рынках и в собственных обществах.

Ещё одним явлением десоциализации стал аутсорсинг. В 1960-е годы все думали, что в начале XXI века основным производителем

лем материальных благ станут роботы, но ими стали китайцы. Именно поэтому многих сфер производства не коснулась роботизация. В связи с этим одним из интересных поворотов, первые признаки которого мы сейчас наблюдаем, является реиндустриализация Запада на принципах автоматизации и роботизации. Сегодня на Западе всерьёз ставится вопрос о конкуренции с Китаем в производстве. Именно поэтому в 2011 году была сформулирована германская концепция новой промышленной революции. Есть обоснованные предположения, что новые тенденции развития технологий подводят черту под концепцией «глобальной фабрики», какой является Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, а производство всё более сближается с разработкой и вновь становится ближе к потребителю. Упомянутые процессы зиждутся на принципах глубокой автоматизации, которые должны качественно изменить контекст взаимоотношений Запада и Китая, что позволит производствам вернуться на Запад.

Логичным следствием этого процесса является новый протекционизм. Причины этого явления кроются в следующем. Во-первых, новые технологии на этапе своего зарождения всегда более уязвимы. Например, когда появились суда на паровом двигателе, парусники ещё долгое время ходили быстрее, и только потом новые технологии развили заложенные в них преимущества, именно поэтому они нуждаются в протекционистской защите. Во-вторых, новый протекционизм – это способ ограничить Китай, ибо благодаря новым технологиям изделия, производимые в меньших сериях, станут более окупаемыми. Сегодня повсеместно господствующим является представление о том, что если доступный рынок потребителей включает, скажем, менее полумиллиона человек, то смысла заниматься серьёзным индустриальным производством попросту нет. В случае с новыми промышленными технологиями их специфика и удешевление будут приводить к тому, что мелкосерийные формы производства станут окупаемыми, что создаст предпосылки для развития нового протекционизма.

Введя в дискурс рассматриваемой тематики основные системообразующие определения, становится возможным описать такое понятие, как «консервативный поворот». По трём указанным направлениям — дегуманизации, десоверенизации и десоциализации — происходит атака на политическую современность и на национальное государство как основной институт этой политической современности, как на фокус, который замыкает на себе многие черты. В связи с этим в некоторых моих работах предлагается ввести понятие «консерватизм второй волны». Если консерватизм истоков — это попытка сначала отстаивания, а потом продуктивного реванша ценностей аграрно-сословного общества в современном массовом городском обществе, то консерватизм второй волны — это отстаивание классических ценностей эпохи модерна — тех ценностей, которые возникли и выкристаллизовались в конфликтном симбиозе консерватизма и Просвещения. Защита идей нации и национального государства зиждется на этих трёх осях.

Если рассматривать повестку дня современных консервативных движений, то становится очевидным, что она укладывается в эти три рубрики: сопротивление дегуманизации и стремление артикулировать принципы и ценностные интересы морального большинства, собранные вокруг традиционных представлений о человеческой личности и семье; сопротивление десоциализации, то есть размыванию среднего класса (со стороны иммиграции это происходит снизу, со стороны финансовых элит — сверху); наконец, сопротивление десоверенизации — утеканию власти в наднациональные и транснациональные структуры. Повестка консервативного движения в Европе, США и в России укладывается в эти три направления. Тот ренессанс, или перезагрузка правопопулистских и консервативных движений, которые можно сегодня повсеместно наблюдать, является свидетельством актуальности этой повестки.

Примечательно, что императив культурной интеграции прекрасно совместим с антиглобализмом, потому что глобализация рав-

нозначна культурной фрагментации. Если мы интегрируем то или иное общество на базе его высокой национальной культуры, то это значит, что рядом с ним будут существовать другие общества, которые говорят на других языках и основаны на базе других культур. Диалектика здесь такова: если общество мировое, то это фрагментированное общество. Если общество интегрировано, и культурно, и социально, то это будет одно из обществ, отделённых достаточно строгими, жёстко охраняемыми от других границами.

Немаловажно, что сегодня происходит трансформация самих принципов политического размежевания. С обеих сторон, как среди сторонников десоверенизации, дегуманизации и десоциализации, так и среди тех, кто им сопротивляется, есть и левые, и правые. По большому счёту, современный глобалистский истеблишмент — это синтез новых левых и новых либералов, синтез детей 1968 года, философской базой которой был фрейдомарксизм, альянс поклонников Хайека и сторонников финансовой глобализации. И наоборот, со стороны фронта линии сопротивления всё чаще совместно действуют вчерашние левые (те, которые сохранили верность интересам именно трудящихся, а не пёстрой коалиции меньшинств) и вчерашние правые — христианские консерваторы или националисты. Именно это изменение линии размежевания, когда в основу кладётся не старый принцип разделения правых и левых (в XX веке он был ассоциирован с отношениями труда и капитала), а новый принцип, суть которого ещё нужно артикулировать и понять, составляет важную подпочву сегодняшних политических процессов.

В начале 2000-х Борис Межуев в одной из статей дал интересную картину того, как менялись принципы политической поляризации с начала 1850-х годов. Согласно его мнению, изначально, в XIX веке в фокусе поляризации было главным образом отношение к клерикализму и дебаты между остатками сословного общества и ценностями и установками всех типов эмансипации. XX век в свою очередь характеризуется непрерывным противостоянием труда и капитала, вокруг

которого и выстраивается основная ось поляризации политической. XXI век представляет принципиально иное явление. Он начинается с весьма острых миграционных кризисов и вторжения этой темы в политику. Б. Межуев выдвигает гипотезу о том, что именно вопросы миграции и демографии станут фокусом политического размежевания в новую эпоху. Это представление можно дополнить, говоря не только об эмиграции, но и о культурной кластеризации общества. Если сегодня посмотреть на то, как голосует Америка, то становится понятным, что это действительно общество, которое описывается как совокупность набора определённых социально-культурных кластеров, часть которых являются субкультурами, а часть — этническими культурами. И миграция, и культурная кластеризация действительно всё больше выглядят системообразующим принципом политического размежевания. К этому же следует добавить спор о глобализации в том виде, в котором он сложился на рубеже XX-XXI веков: отрицание глобализации становится паролем для одних, а утверждение — паролем для других.

Из вышесказанного следует, что речь идёт не просто о консервативном повороте и сдвиге в сторону консервативных ценностей и ожиданий, а о трансформации самих принципов организации политического поля. В центре этого поля группируется истеблишмент с разных сторон (как слева, так справа), который делает ставку на проект глобализации, а с флангов этот проект атакуется коалицией сопротивления. Поэтому отношение к истеблишменту (исключительно как к негативному явлению) тоже вошло в западную политику в качестве ключевой темы не случайно.

При характеристике понятия «консервативный поворот» невозможно игнорировать роль культуры. Культура — невероятно многозначное понятие. Если говорить о концепции доминирующей культуры, то она является и пробным камнем, и полем битвы. Насколько вообще приемлемо в обществе говорить о доминирующей культуре, национальной культуре? Насколько вообще можно продолжать в соответствии с духом национального государства интегрировать

немецкое общество на базе немецкой культуры, французское общество на базе французской культуры, российское общество — на базе русской? Или необходимо зафиксировать, что публичный порядок и культурная интеграция должны оставаться параллельны друг другу, жить разными жизнями? И тогда мы возвращаемся в Средневековье, так как смысл движения от средневекового общества к современному состоял в том, что современное общество востребовало императив культурной интеграции. И политика, и индустриальная экономика востребовали интеграцию всего общества на базе единой, национальной, высокой письменной культуры.

В аграрно-сословном обществе, напротив, практически нет такого стремления к совпадению политических и культурных границ, там гораздо меньшее значение имеет способность участников одного общества или хозяйственного уклада говорить на одном языке и единообразно кодировать и декодировать сообщения. В современном обществе такое умение имеет принципиальное значение. Поэтому мультикультурализм — это путь в новое средневековье.

Таким образом, ключевой интригой XXI века остаётся вопрос о том, куда же приведёт «консервативный поворот». Видится несколько возможных вариантов. В первом случае он может стать своеобразным «удержанием» классических ценностей модерна. Суть этих ценностей состоит, прежде всего, в воле к целостности общества. Именно в этом стремлении сформировать интегрированное общество в социальном и культурном отношении. Это отражение сути модерна и одновременно принцип интегрированного общества. Все машины, ассоциируемые с классическим модерном, работают именно на культурную, социальную интеграцию общества. При этом если общество становится мировым, то оно фрагментируется, поэтому глобализация в полном смысле неизбежно связана с демодернизацией, и два этих понятия по своей сути синонимичны. В рамках демодернизационного проекта возможны разные идеологии, в каждой из которых может быть своя версия консерватизма или псевдоконсерватизма как нового варварства.